

Наталья Громова

**ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ:
Я ЗНАЮ О МНОГОМ. Я ПОМНЮ.
Я СМЕЮ...**

Литературная судьба Ольги Берггольц начинается в шестнадцать лет — в литобъединении для рабочей молодежи «Смена», где собираются молодые поэты и писатели. Она пришла туда «с безумной робостью» в самом начале 1925 года. «В литгруппе „Смена“ в меня влюбился один молодой поэт, Борис К., — вспоминала Берггольц. — Он был некрасив, невысок ростом, малокультурен, но стихийно, органически талантлив... Был очень настойчив, ревнив чудовищно, через год примерно после первого объяснения я стала его женой, ушла из дома»¹. Они поженились в 1928 году, и первая книга стихов Корнилова «Молодость» была посвящена Ольге. В то время ее идейный выбор был абсолютно определенный — советская жизнь с энтузиазмом и верой в коммунизм. «Мы активно, страстно, как-то очень лично жили тогда всей политической жизнью страны, — писала она спустя годы в предисловии к сборнику стихов Бориса Корнилова, — всеми событиями в партии и так же активно и лич-

¹ Берггольц О. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1990. С. 483.

но жили жизнью и событиями современной нам поэзии. А этих событий было в те годы много. Почти каждое из них волновало нас и вызывало споры, находило противников и последователей...»¹

Ольга предчувствовала, что с течением жизни поэтическое соперничество между ней и Корниловым будет только нарастать. 19 августа 1928 года она записывает в дневнике: «...Борька сказал сегодня: „ты мне подражаешь“, потом оговорился, что это шутка... Нет, мне кажется, что он не шутил... Это нехорошо, если это так. Я не хочу этого...»²

В октябре 1928 года у молодой пары родилась дочь Ирина. Между кормлениями Ольга бегала на лекции в Институт истории искусств. Борис пытался зарабатывать, учиться, но срывался, пил. Пути их очень скоро разошлись. В июне 1930-го, на преддипломной журналистской практике во Владикавказе, начиная новую тетрадку дневника, почти с первых же строк Ольга заявляет: «Вот — развод с Борькой. О да, уже окончательный, рецидивов не будет. Правда, сейчас стало больнее, чем первое время, хочется написать ему ласковые слова, но сдерживаю себя, так как знаю, что это ни к чему. Да, я поступила правильно». Спустя годы в автобиографии Берггольц объясняла: «Я разошлась с ним просто-таки по классическим канонам — отрывал от комсомола, ввергал в мещанство, сам „разлагался“»³.

¹ Берггольц О. Предисловие // Корнилов Б. Стихотворения и поэмы. Л., 1957. С. 5.

² Берггольц О. Мой дневник: В 3 т. Т. 1: 1923–1929. М., 2016. С. 575.

³ Берггольц О. Собр. соч. Т. 3. С. 484.

После расформирования Института искусств как не соответствующего новой идеологии всех студентов перевели на филологический факультет Ленинградского университета, где Ольга встретила начинающего филолога Николая Молчанова. С первого взгляда он ей очень понравился. Юноша отвечал всем представлениям об идеальном советском человеке. Он был аскетичный, честный, порядочный и настоящий комсомолец. Именно такого мужчину Ольга хотела видеть рядом с собой. «Донской казак по происхождению, высокий, удивительно ладный, он был необычайно, строго и мужественно красив, и еще более красив духовно»¹, — писала она в автобиографии.

Работая в газете Владикавказского окружкома ВКП(б) «Власть труда», Ольга объезжает города и аулы, пишет о ходе коллективизации. С тоской и нежностью вспоминает Корнилова, думает о далеком Коле Молчанове и о своем будущем: «Я должна, я буду писать настоящие, хорошие стихи!..»² Для нее стихи — средство борьбы с отжившим миром и инструмент строительства новой жизни.

...Вернувшись в Ленинград, Ольга добивается, чтобы их вместе с Николаем Молчановым по распределению отправили в Казахстан корреспондентами газеты «Советская степь». В Казахстане идет массовая насильственная коллективизация. Через несколько лет Ольга напишет повесть «Журналисты». Там не будет даже намек на трагическую реаль-

¹ Там же. С. 484.

² Берггольц О. Мой дневник. Т. 2: 1930–1941. М., 2017. С. 30.

ность, которая открылась ей в те дни. Тем не менее эта повесть сыграет страшную роль в жизни Берггольц. В конце 1930-х годов повесть «Журналисты» будет фигурировать в ложных обвинениях.

Фактически со времени поездки в Казахстан Берггольц становится женой Николая Молчанова. Но долго она в Казахстане оставаться не могла и немного погодя поспешила в Ленинград к своей маленькой дочери.

С журналистской практики Николая Молчанова призвали в армию, но вскоре он был комиссован из-за тяжелой формы эпилепсии, возникшей после контузии, когда на учениях рядом с ним разорвалась граната. Он пришел в их первое совместное жилье на улице Рубинштейна, когда Ольга уже родила их общую дочку Майю. Это было короткое счастливое время ее жизни. «С Колькой — хорошо, — пишет она в дневнике 28 ноября 1932-го. — Друг друга нашли быстро. Он в основном такой же — заботливый, ласковый, милый. Очень хорош с девчушками. Много говорим с ним. Я его люблю — в этом нет ни малейшего сомнения. С ним очень плотно стоять в жизни, легко идти по ней... Любит он меня хорошо и много»¹. 25 июня 1933 года девятимесячная Маечка умирает. Это случилось на даче, недалеко от станции Сиверская. Ольга и годы спустя не забудет это место, навсегда оставшееся для нее трагическим.

А в начале марта 1936 года умерла от эндокардита ее старшая дочь Ирина. Девочка уходила тяжело, задышалась, теряла сознание. Только через год Ольга

нашла в себе силы записать на листочке последние слова дочери. «Доктор... Доктор, я вас умоляю, дайте мне камфары... Мамочка... Скажи ей, чтоб дала камфары... Мамочка... Я все, все сделаю, что ты только ни попросишь, все, все сделаю, только дай мне камфары. Ну?! Ну попроси меня о чем-нибудь. Ну проси...»¹

В минуты самой глубокой скорби Ольга все отчетливее нащупывает одну из основных тем своей поэзии — преодоление смерти через Память. Она беспрестанно возвращается к воспоминаниям о дочерях, вписывая их гибель в общий текст своей судьбы, и делает это подчас абсолютно беспощадно к себе самой. В описании страданий и мук матери, потерявшей ребенка, проявляется вся та же неистовость и страстность, что отличала ее с юности. Это свойство души и натуры.

В сентябре 1936 года Ольгу назначают ответственным секретарем газеты «Литературный Ленинград», где она работает вплоть до закрытия этого издания в марте 1937 года. Работая в газете, Ольга все больше чувствует себя настоящим партийным пропагандистом: она объясняет, растолковывает, ведет и возглавляет. На многочисленных собраниях, в том числе и писательских, звучали сокрушительные заявления в адрес предполагаемых троцкистов: «Расстрелять как бешеных собак!» Тогда Ольга Берггольц была на стороне тех, кто призывал к расстрелу.

На следующий день после открытия VIII Всесоюзного съезда Советов, куда ее пригласили, Ольга

¹ Берггольц О. Мой дневник. Т. 2. С. 485.

записала: «26 ноября 1936. Вчера слушали доклад Сталина на съезде. Трижды будь благословенно время, в которое я живу единый раз, трижды будь благословенно, несмотря на мое горе, на тяготы! Оно прекрасно. О, как нужно беречь каждую минуту жизни. И вот эта родина, эта конституция, этот гордый доклад, — ведь во всем этом и моя жизнь, раскальвающаяся на быт, на заботы, малодушие. Как бы мелка и неудачна она ни была — она оправдана эпохой, она спасена и обессмерчена ею, мне лично стало за эти годы жить горше и тяжелее, а жизнь в целом стала лучше и веселей, это правда, и я чувствую это!»¹

В это «трижды благословенное время» шли по-
вальные аресты. В партячейке на заводе «Электросила», где ее принимали кандидатом в члены партии, ей вполне серьезно сообщают, что на очередном пленуме ЦК будет принято решение о «всемерном развертывании внутрипартийной демократии». И даже на фоне арестов и травли ленинской гвардии большевиков Ольга не видит здесь никакого противоречия. Когда Николай Молчанов, еще недавно правоверный комсомолец, вдруг говорит, что больше не может быть в комсомоле, она, потрясенная его словами, рассуждает, сможет ли жить с человеком, отошедшим от линии партии. Она не понимает, что арест угрожает и ей. И только когда придут за главным редактором «Литературного Ленинграда» — ее близким другом Анатолием Гореловым, она в растерянности запишет в дневнике:

«15 марта 1937. Первое чувство — недоумение. Рыжий — враг народа? Или тут перестраховка известных органов, или действительно надо быть исключительной чудовищности гадом, чтоб быть врагом народа, вдобавок ко всему, что мы слышали от него на партсобраниях. Не может быть, чтоб он был арестован только за то, что мы знали»¹.

Вскоре в «Литературной газете» появилась статья «Авербаховские приспешники в Ленинграде». Героями ее стали Ольга Берггольц, Ефим Добин и Лев Левин. Незадолго до собрания, где ее исключили из Союза писателей, 9 мая 1937 года, Ольга записала в дневнике: «Если я доношу Степу (так она называла будущего ребенка. — *Н. Г.*) — это будет чистой случайностью». Но самое унижительное для нее произошло 29 мая, когда состоялся разбор персонального дела с подробностями ее близких отношений с Авербахом. В начале 30-х годов их познакомил Горький, они встречались и в какой-то момент их связь стала интимной. Леопольд Авербах был ответственным секретарем РАППа (Российской ассоциации пролетарских писателей), один из «неистовых ревнителей пролетарской чистоты», имел репутацию литературного погромщика. Так как он был близким родственником наркома НКВД Генриха Ягоды, его арестовали в начале 1937 года вслед за высоким покровителем.

Разбирали дело Ольги Берггольц бывшие товарищи с «Электросилы», с которыми трудилась и дружила, о которых, работая в заводской многотираж-

¹ Берггольц О. Мой дневник. Т. 2. С. 425.

ке, она написала много хвалебных очерков. Но товарищи, не дрогнув, проголосовали за ее исключение из партии.

В июне 1937 года Ольгу вызвали в НКВД для дачи показаний по делу Авербаха. Она была на последних месяцах беременности. В материалах ее будущего уголовного дела откроются обстоятельства того лета. «Что же касается показаний Берггольц, данных ею во время допроса в качестве свидетеля в июле м-це 1937 г., где она показала, что является участником троцкистско-зиновьевской контрреволюционной организации, являются, как установлено следствием, показаниями вынужденными, даны в состоянии очень тяжелого морального и физического состояния, о чем свидетельствует тот факт, что сразу же после допроса Берггольц попала в больницу с преждевременными родами»¹.

Еще в июле 1937 года она записала в дневнике: «10 июля 1937. На фоне того, что происходит кругом, — мое исключение, моя поломанная жизнь — только мелочь и закономерность. Как, когда падает огромная глыба, — одна песчинка, увлеченная ею, — незаметна».

Она ищет работу, и с 1 сентября 1937 года ей удается устроиться в школу учителем русского языка седьмых–восьмых классов. Но жизнь наносит ей новый удар. 7 ноября Ольга, как всегда, думала пойти на демонстрацию с рабочими завода «Электросила». Но едва Ольга попыталась встать в колонну демон-

¹ Соколовская Н. «Тюрьма — исток победы над фашизмом» // Новая газета в С.-Петербурге. 2009. № 80.

странтов, к ней подошел представитель парткома и потребовал, чтобы она ушла. Ольга стояла на обочине и смотрела на своих товарищей. А ее электроциловцы проходили мимо не здороваясь, опускали глаза...

Берггольц была арестована в ночь с 13 на 14 декабря как «участница троцкистско-зиновьевской организации» и доставлена в Шпалерку¹. В постановлении об аресте говорилось, что Ольга Берггольц входила в группу, готовившую террористические акты против руководителей ВКП(б) и советского правительства (т. Жданова и т. Ворошилова). Среди прочего у нее изъяли дневники. В протоколе обыска под номером семь значилось пятнадцать записных книжек, под номером десять — девять тетрадей.

3 июля 1939 года Ольгу освободили из-под стражи. Следствие по делу было прекращено за недоказанностью состава преступления. За время тюрьмы Ольга изменилась кардинально. Не было больше фанатичной коммунистки, оправдывавшей любые преступления власти, совершаемые ради «высоких целей». В ее дневнике — и растерянность, и ужас перед открывшимся новым знанием о стране, о людях, которым она верила. Но главное — это понимание реальности, в которой каждый поступок абсолютно однозначен: предательство — это предательство, а ложь — это ложь.

«Ровно год назад в этот день я была арестована, — записала она 14 декабря 1939 года. — Ощущение тюрьмы сейчас, после 5 месяцев воли, воз-

¹ Следственная тюрьма НКВД на Шпалерной улице.

никает во мне острее, чем в первое время после освобождения. ⟨...⟩ ...зачем же все-таки подвергали меня всей той муке?! Зачем были те дикие, полубредовые желто-красные ночи... И это безмерное, безграничное, дикое человеческое страдание, в котором тонуло мое страдание, расширяясь до безумия, до раздавленности!..»¹

Тюрьма во многом изменила образ мыслей Ольги, ее мировоззрение. Необходимо было заглянуть в себя и ответить, а чем же был для нее 1937 год? Что случилось с Борисом Корниловым? Ведь в те дни в порыве общего помешательства она участвовала в его травле, писала в дневнике, что правильно арестован, «за жизнь»... «Перечитываю сейчас стихи Бориса Корнилова, — пишет Ольга 23 марта 1941 года, — сколько в них силы и таланта! Он был моим первым мужчиной, моим мужем и отцом моего первого ребенка, Ирки. Завтра ровно пять лет со дня ее смерти. Борис в концлагере, а может быть, погиб... Смерть, тюрьма, тюрьма, смерть...»² Все эти чувства и мысли нашли отражение в стихах, увидевших свет спустя десятилетия.

22 июня 1941 года Берггольц пишет: «Мы предчувствовали полыханье / этого трагического дня. / Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье. / Родина! Возьми их у меня!» И в то же время войну Ольга восприняла как освобождение от затянувшегося ощущения, что она в тупике, от отчаяния.

В конце июня 1941 года Союз писателей направил ее в Радиокomiteeт, в литературный отдел, кото-

¹ Берггольц О. Мой дневник. Т. 2. С. 568.

² Там же. С. 611.

рым руководил Георгий Макогоненко, будущий известный литературовед. Он настойчиво ухаживал за Ольгой и в конце концов их отношения стали очень близкими. В те дни Ольга пишет: «В бомбоубежище, в подвале, / нагие лампочки горят... / Быть может, нас сейчас завалит. / Кругом о смерти говорят... Я никогда с такою силой, / как в эту осень, не жила. Я никогда такой красивой, / такой влюбленной не была...»

Однако самым близким и родным человеком для Ольги Берггольц остается Николай Молчанов. 29 января 1942 года Молчанов умер в психиатрической больнице от истощения и прогрессирующего нервного расстройства. «Как страшно и бессмысленно погиб этот изумительный, сияющий человек. Я ужасаюсь тому, что осталась без его любви. Но пусть бы даже разлюбил, — я и недостойна была этой священной его, рыцарской любви, — только пусть бы жил, пусть бы жил...»¹

В те страшные дни стала постепенно возникать поэма «Февральский дневник», посвященная памяти Николая Молчанова, основанная на блокадных дневниковых записях. Именно там прозвучали слова Берггольц, дающие ей право говорить от лица горожан, сопротивляющихся смерти, — «Я тоже ленинградская вдова».

В марте Радиокomitee отправляет Ольгу в командировку в Москву. Но оттуда она рвется в умирающий блокадный Ленинград. «...Знаешь, свет, тепло, ванна, харчи — все это отлично, но как объяснить

¹ Берггольц О. Мой дневник. Т. 3: 1941–1971. М., 2020. С. 129.

тебе, что это еще вовсе не жизнь — это СУММА удобств. Существовать, конечно, можно, но ЖИТЬ — нельзя. И нельзя жить именно после ленинградского быта, который есть бытие, обнаженное, грозное, почти освобожденное от разной шелухи...» — пишет она Макогоненко. И еще пишет: «Здесь не говорят правды о Ленинграде...», «...Ни у кого не было даже приближенного представления о том, что переживает город... Не знали, что мы голодаем, что люди умирают от голода...», «...Заговор молчания вокруг Ленинграда», «...Здесь я ничего не делаю и не хочу делать — ложь удушающая все же!», «Смерть бушует в городе... Трупы лежат штабелями... В то же время Жданов присылает сюда телеграмму с требованием — прекратить посылку индивидуальных подарков организациям в Ленинград. Это, мол, „вызывает нехорошие политические последствия“», «По официальным данным, умерло около двух миллионов...», «А для слова — правдивого слова о Ленинграде — еще, видимо, не пришло время... Придет ли оно вообще?..».

Вернувшись в блокадный Ленинград, Ольга Берггольц выбрала свою судьбу. Она больше не ждала ни постановлений, ни распоряжений. Теперь она делала то, что считала правильным. Она хотела, чтобы живые ее слышали, а умершие — жили в памяти. Оказалось, что в 1942 году в умирающем городе многое стало возможно. Потребность в живой и подлинной интонации, в подлинных чувствах была огромна. В литературу возвращаются стихи и проза, проникнутые настоящим лирическим и гражданским чувством.

Именно обычных ленинградцев Берггольц называет подлинными героями войны — горожан, воюющих с голодом, холодом, мраком и страхом, а не только летчиков, моряков, танкистов, полководцев или солдат. Объявит на свой страх и риск. И сделает это так категорично, что отменить ее формулировку будет невозможно. Она старалась быть голосом каждого. История о том, как она, обессиленная, упала по дороге в Радиокomiteeт и очнулась, услышав из уличного репродуктора свой собственный голос, который буквально поднял ее на ноги, прочитывается как метафора не только блокадной, но и всей ее последующей жизни. Для ленинградцев она была не просто известным поэтом Ольгой Берггольц, а символом стойкости города. И верили уже не государству — верили ей.

Вторая половина жизни Ольги Берггольц стала своеобразным ответом на вопрос, для чего ей выпали такие тяжкие испытания. Для чего надо было прожить вместе со страной, с людьми, все события и драмы — от надежд до поражений, верить так же страстно, как верили ее современники, и разочароваться вместе с ними. Быть счастливой энтузиасткой и погибать в тюрьме. «Я здесь, чтобы свидетельствовать...» — скажет она спустя годы о себе.

После войны Ольга стала человеком-легендой. Надежды на послевоенное «ослабление режима» для народа-победителя не оправдались. И для Ольги снова настает пора испытаний. Во время «ленинградского дела» тревожным звонком стал для Берггольц запрет ее книги «Говорит Ленинград» — блокадный сборник ее выступлений по радио. Об этом

ей рассказали друзья, работавшие в Публичной библиотеке, — пришло распоряжение об изъятии из фондов всех экземпляров. Уничтожение книги обычно предшествовало уничтожению человека. К счастью, она избежала ареста.

Весной 1952 года Ольга Берггольц с группой писателей, в которую входили Александр Твардовский и Юрий Герман, была командирована на строительство Волго-Донского канала, возводившегося силами заключенных. «В начале 52, зимой и весной, — дважды Волго-Дон, — писала Ольга в дневнике. — Дикое, страшное, народное страдание. Историческая трагедия небывалых масштабов. Безысходная, жуткая каторга, именуемая „великой стройкой коммунизма“, „сталинской стройкой“. Это — коммунизм?! Да, люди возводят египетские сооружения, меняют местами облик земли, они радуются созданию своих рук, результату каторжных своих усилий, я сама видела это на пуске Карповской станции, на слиянии Волги и Дона, — но это — радость каторжан, это страшнейшая из каторг, потому что она прикидывается „счастливой жизнью“, „коммунизмом“, она драпируется в ложь, и мне предложено, велено драпировать ее в ложь, воспевать ее... и я это делаю, и всячески стараюсь уверить себя, что что-то „протаскиваю“, „даю подтекст“, и не могу уверить себя в этом. Прежде всего, я чувствую, что должна писать против этого, против каторги, как бы она ни называлась. До сих пор я мычу от стыда и боли, когда вспоминаю, как в нарядном платье, со значком сталинского лауреата ходила по трассе вместе с геппеушниками и какими взглядами провожали меня

сидевшие под сваями каторжники и каторжанки. И только сознание — что я тоже такая же каторжанка, как они, — не давало скатиться куда-то на самое дно отчаяния».

После огромного успеха книги прозы «Дневные звезды», написанной на основе дневников, она думает о своей Главной книге. И в центре будущей книги-исповеди должна быть судьба ее поколения, прошедшего через тюрьмы, допросы и пытки. Поэтому она и написала в дневнике такие отчаянные слова: «Тюрьма — исток победы над фашизмом, потому что мы знали: тюрьма — это фашизм, и мы боремся с ним, и знали, что завтра — война, и были готовы к ней».

Но Главная книга рассыпается, не складывается. Должно быть, не было в ней сквозного стержня, как в первой части «Дневных звезд». Если бы Берггольц удалось внутренне выйти за пределы советской системы, за пределы «учения», в котором она все больше и больше сомневалась, если бы она стала писать историю своих и чужих бедствий как есть — как когда-то бесстрашно о времени и о себе написал Герцен, — может быть, у нее бы и получилось. Но для этого надо было не только отринуть веру в коммунистическую мечту, но и увидеть полную несостоятельность социализма, который был построен в Стране Советов. Завершающей частью ее Главной книги должен был стать сборник стихов «Узел». Он вышел в 1965 году. Начинается сборник тюремным циклом «Испытание». Вторая часть — «Память» — открывается эпитафией из Бориса Пастернака: «Здесь будет всё пережитое, / И то, чем я еще жи-

ву, / Мои стремленья и устои, / И виденное наяву». В третьей части — «Из Ленинградских дневников» — звучат неопубликованные блокадные стихи Ольги. А в последнем разделе «Годы» она прощается со своей молодостью, с мечтой о счастье... Книга лишена всякого пафоса. Голос Ольги сдержан и суров. Она рассматривает свою жизнь через призму народной катастрофы, которую разделила со всей страной.

Она умерла в шестьдесят пять лет, 13 ноября 1975 года. Некролог появился в газете «Ленинградская правда» только 18 ноября, в день похорон. Согласования наверху шли почти пять дней. Панихида была в Союзе писателей, неподалеку от Большого дома и тюрьмы, в которой она провела страшные полгода.

«Зато начальство было довольно, — написал Даниил Гранин. — Похоронили на Волковом, в ряду классиков, присоединили, упрятали в нечто академическое. Так спокойнее. И вроде бы почетно. Рядом Блок, Ваганова и пр. Чего еще надо? А надо было похоронить на Пискаревском, ведь просила — с блокадниками. Но где кому лежать, решает сам Романов. Спорить с ним никто не посмел...»¹

¹ Гранин Д. Похороны. 18 ноября 1975 года // Ольга. Запретный дневник. СПб., 2010. С. 331.